

Владимир Салимон

ЖИВИ, ПОЭТ!

* * *

Я знал, отец под Новый год,
как языка, живую ёлку,
взяв с бою, нам приволочёт
домой, крадучись, втихомолку.

Пока все спят, он у окна
её в ведро с водой поставит.
Проснусь — о, счастье! — вот она!
Горит. Сверкает. Бога славит.

И не беда, что всё у нас
в календаре перемешалось,
всё так запуталось подчас
и не на месте оказалось.

Что праздник празднику порой
дорогу переходит,
лезет
без очереди, как слепой,
шумит, буйнит, куролесит.

* * *

Наши мамки, наши няньки,
нас на санки посадив,
тащат, тащат в гору санки,
как состав, локомотив.

Едет, едет по бульвару
поезд наш, со всех сторон
нам кричат — поддайте жару! —
видно, есть на то резон.

Еле-еле поезд тянет.
Кажется, ещё чуть-чуть

и навек в снегу он встанет.
Заметёт, завьюжит путь.

Мы до станции конечной
не доедем никогда,
унесёт нас быстротечной
Леты чёрная вода.

Мальчика в солдатской шапке.
В белой шубке меховой
девочку.
Стихи. Тетрадки.
Сделав жизнь мою пустой.

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001). Лауреат премий журналов «Октябрь», «Арион», Европейской поэтической премии Римской академии (1995). Лауреат Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Живет в Москве.

Постоянный автор «Дружбы народов».

* * *

Что мне делать с моей Ирккой?
Прежде, были времена,
без труда могли с бутылкой
мы управиться вина.

Пенилось вино в бокалах,
а вокруг сирень цвела,
словно в розовых кораллах
мы сидели вкруг стола.

Лёша, Коля, Саша, Слава —
их давно на свете нет,
только мотыльков орава
в сумерках летит на свет,

словно мелкие рыбёшки
к нам летят из темноты
души Славки, Кольки, Лёшки.
Ира, детка, где же ты?

Я проснулся среди ночи:
Ира! Ира! — стал кричать,
звать Ирину, что есть мочи.
Иры нет. Пуста кровать.

* * *

Дом пуст и холоден, и тёмн.
По осени во тьме ночной
он так нам кажется огромен,
как будто космос ледяной.

Но в пустоте и тьме крошечной
жизнь существует всё равно,
не в пику смерти неизбежной,
а словно с нею заодно.

Она присутствует незримо
и явственно и здесь, и там —
то в запахе печного дыма,
то в шорохах, что слышны нам.

Я о её существованье
догадываюсь без труда,
она себя не держит в тайне,
не знает страха и стыда.

Она не прячет, не скрывает,
лишь милосердно до поры
нам на показ не выставляет
клыки и когти, и шипы.

* * *

Бонни Клайда обнимает,
но сжимая рукоять
револьвера, оседает
Клайд, не в силах устоять.

Может, перед объективом
близость с ними как-нибудь
в ослеплении счастливым
мы хотели подчеркнуть:

нахлобучили мы шляпы,
сходства лёгкого ища,

спрятали хвосты и лапы
под одежду, трепеща,

потому что сердцем, кожей
ощущали, что нельзя,
обезьянничая, божий
гнев не вызвать на себя.

Клайд убит, погибла Бонни.
А теперь и мы с тобой
лай собачий, шум погони
услыхали за спиной.

* * *

Дорога только до моста,
а дальше — узкая тропинка,
глухие, дикие места,
что годны лишь для поединка.

Я бы и рад подставить грудь
под пулю доброму соседу,
но, трус презренный, он ничуть
не хочет кровь пустить поэту.

Он говорит:
Живи, поэт!
Зачем в тебя стрелять я буду?
И, вспрыгнув на велосипед,
купаться едет на запруду.

* * *

Без удовольствия за стол
в саду не сядешь,
сел у печки,
уставясь в деревянный пол,
в прямые ровные дощечки.

Такой, положенный во гроб
живым, увидел крышку гроба
несчастный Гоголь.
Бил озноб
его, хотя прошла хвороба.

Доска к доске — ни щёлки нет,
зазора нету, промежутка,
чтоб сквозь него увидеть свет,
и оттого ужасно жутко.

Так, в пол уставясь, я сидел,
колени обхватив руками,
как будто угадать хотел,
что там — в кромешной тьме — под нами.

* * *

Отец и сын на фотоснимке.
И кто-то третий — Дух Святой
иль Ангел, вроде невидимки,
нас ослепивший красотой?

Иль это — птичка-невеличка,
что вылетает всякий раз,
лишь вспыхнет вспышка, словно спичка,
до слез перепугавши нас?

Спроси фотографа об этом,
но он руками разведёт,
в карман полезет за ответом,
но ничего там не найдёт.

Откроет короб свой заплечный,
всё перероев в нём вверх дном,
но на вопрос ответить вечный
не может,
будто астроном,

что к телескопу всей душою,
как к мамке родненькой,
приник:
есть за чертою гробовою
жизнь иль наша жизнь — тупик?

* * *

День идёт на убыль, словно
в доме траур, полумрак.
Я, как это не прискорбно,
пью вино, курю табак.

Я пускаю кольца дыма,
и они, как корабли
межпланетные, вестимо,
в космос путь беруг с Земли.

Бороздят миры иные,
облетают вокруг планет,
чьи пустыни ледяные
отражают звёздный свет.

В этом свете отражённом,
будто в зеркале кривом,
будто бы в окне вагонном,
перевернут мир вверх дном.

* * *

В дождь трамваи встают на коньки
и скользят вдоль бульваров тенистых,
где уже фонарей огоньки
загораются в сумерках мглистых.

Это сон или явь?
Это только мерещится, мнится —
тонкий профиль в трамвайном окне,
что летит в полумраке,
как птица

сквозь холодные струи дождя
и густой частокол мелкоколосья,
сквозь который пробиться нельзя,
крылья не поломав, в поднебесье.

* * *

Сколько золота намыли,
а уходим налегке,
тая столбиками пыли,
исчезая вдалеке.

Ветер дунул, дождь закапал,
ливень наши смыл следы,
чтоб никто по нам не плакал,
так как в этом нет нужды.

Никакого нету прока
горевать и слёзы лить.
Что ушли мы раньше срока,
смысла нету говорить.

Будто в самом деле где-то
стрелки, Господи прости,
на часах забыли с лета
на зиму перевести.